

ГЛАВА II. "Это опасное восполнение..."

« Сколько крика подыметя против меня! Я уже слышу издали вопли той пресловутой мудрости, которая непрерывно отнимает у нас самих себя, которая ни в грош не ставит настоящее, постоянно гонится за будущим (а будущее убегает тем дальше, чем ближе мы к нему подходим) и которая переносит нас туда, где нас нет, а стало быть - туда, где нас никогда не будет.

"Эмиль, или О воспитании "

« Все бумаги, которые я собрал для восполнения памяти и руководства в этой моей работе, перешли в другие руки и уже не вернутся ко мне.

"Исповедь"

Мы уже не раз отмечали: Леви-Стросс постоянно восхваляет живую речь, тогда как для Руссо это лишь одна из тем: она строится и складывается вместе с другой, прямо противоположной, — со вновь и вновь оживающим недоверием к так называемой полной речи. В устном высказывании наличие одновременно и обетованно, и недостижимо. Однако Руссо возвысил над письмом лишь такую речь, каковой она должна (или, точнее, должна была бы) быть. Нельзя обойти вниманием наклонение и время, связывающие нас с наличной ситуацией живого разговора. Фактически Руссо почувствовал, что и сама речь исчезает в иллюзии ее непосредственной данности. Он увидел и проанализировал это с беспримерной пронзительностью. Получается, что искомого наличия лишает нас уже тот самый языковой жест, посредством которого мы надеемся овладеть им. В "Живом оке" Старобинский блестяще описывает опыт "украденного вора": Жан-Жак отдается этому опыту в игре зрительного образа, который "схватывает свое отражение и обличает свое наличие" (с. 109). Этот опыт преследует нас с самого первого слова. В зрительном образе я не принадлежу сам себе: он одновременно и создает, и разрушает меня; но таков и закон языка. Этот закон действует как власть смерти в самом средоточии живой речи — власть тем более опасная, что она одновременно и раскрывает возможность речи, и угрожает ей.

Так или иначе признавая эту власть, которая, учреждая речь, разрушает создаваемого ею субъекта, не позволяет ему наличествовать в своих собственных знаках, пронизывает его язык письмом, Руссо спешит скорее предотвратить ее опасность, нежели принять ее необходимость. Вот почему, стремясь восстановить наличие, он разом и превозносит, и

низвергает письмо. Разом - значит расчлененным, но внутренне согласованным движением. Постараемся не упустить из виду необычное единство этого жеста. Руссо осуждает письмо как разрушение наличия и как болезнь речи. Но вместе с тем он восстанавливает в правах письмо как средство овладения всем тем, что ускользнуло от речи. Но разве можно это сделать иначе как посредством другого, более древнего письма, которое уже заняло это место?

Первый импульс этого желания порождает у Руссо теорию языка. Второй — царит в его писательском опыте. Так, в "Исповеди" Жан-Жак пытается объяснить, как он стал писателем, описывая этот переход к письму как восстановление — посредством некоего отсутствия и даже преднамеренного стирания — обманутого самоналичия в слове. Письмо, стало быть, это единственное средство сохранить или даже вновь взять слово, поскольку оно дается лишь в отказе от самого себя. Это и создает "экономия" знаков. Впрочем, и эта экономия тоже обманчива, ибо она еще ближе к самой сути этой неотходимости обмана. Нельзя не стремиться овладеть отсутствием, но с захваченным всегда приходится расставаться. Старобинский так описывает фундаментальный закон того пространства, в котором приходится перемещаться Руссо:

“ “Как преодолеть то непонимание, которое мешает ему раскрыть свою истинную ценность? Как избежать опасности стихийной речи? Каким средством общения воспользоваться? Как еще проявить себя? Выбор Жан-Жака таков: отсутствовать и писать. Парадоксальным образом он прячется, чтобы лучше себя показать, и потому доверяется именно письменной речи: "И я любил бы общество, как любой другой человек, если бы не был уверен, что меня увидят не только с невыгодной для меня стороны, но и вообще — таким, каковым я не являюсь. И потому мне больше подходит другая участь — писать и скрываться. Если бы я не скрывался, никто и никогда не узнал бы, чего я стою" ("Исповедь"). Обратим внимание на это удивительное признание: Жан-Жак порывает с людьми, чтобы обратиться к ним письменно. На досуге он нанизывает фразу за фразой, защищенный своим одиночеством" [169].

Вот она — знаковая "экономия": замена речи письмом одновременно подменяет наличие ценностью: я есмь или я наличествую приносятся в жертву ради того, каков я есмь, и того, чего я стою. "Если бы я не скрывался, никто и никогда не узнал бы, чего я стою". Я отказываюсь от моей жизни в настоящем, от моего действительного конкретного существования, дабы меня признали в идеальности истины и ценности. Хорошо знакомая схема. Я борюсь с самим собой в надежде возвыситься над моей собственной жизнью, не отказываясь от нее, и насладиться признанием людей, а письмо есть проявление этой борьбы.

Вот она — знаковая "экономия": замена речи письмом одновременно подменяет наличие ценностью: я есмь или я наличествую приносятся в жертву ради того, *каков я есмь, и того, чего я стою*. "Если бы я не скрывался, никто и никогда не узнал бы, чего я стою". Я отказываюсь от моей жизни в настоящем, от моего действительного конкретного

существования, дабы меня признали в идеальности истины и ценности. Хорошо знакомая схема. Я борюсь с самим собой в надежде возвыситься над моей собственной жизнью, не отказываясь от нее, и насладиться признанием людей, а письмо есть проявление этой борьбы.

Таков урок письма в жизни Жан-Жака. Эта жизнь - яркий пример того, что акт письма должен быть, по сути, огромной жертвой ради наиболее полного символического переприсвоения (reappropriation) наличия. И в этом смысле Руссо знал, что смерть не есть просто "наружа" жизни. Пользуясь письмом, она порождает жизнь. "Я начал жить, лишь когда счел себя уже мертвым" ("Исповедь", кн. VI). А поскольку эта жертва, это "литературное самоубийство" определяется в системе знаковой экономики, не оказывается ли ее искупление лишь видимостью? Разве она не предполагает лишь символическое переприсвоение? Разве эта жертва не заключается в отказе от наличного (présent) и собственного (propre) ради более прочного овладения их смыслом на уровне идеальной формы истины — наличия наличного, близости или собственности собственного? Если бы мы и в самом деле придерживались той системы понятий (жертва, трата, отказ, символ, видимость, истина и др.), которые позволяют определять то, что мы здесь именуем "экономией", в терминах истины и видимости и на основе оппозиции наличие/отсутствие, то вывод о том, что перед нами уловки и видимости, был бы неизбежен.

Однако ведь работа письма и "экономика" различия не допускают господства этой системы классических понятий, этой онтологии и этой эпистемологии. Напротив, они определяют их скрытые предпосылки. Различание не оказывает сопротивления присвоению и не ограничивает его извне. Сначала оно починает отчуждение, а в заключение - и само это переприсвоение. И так - до самой смерти. Смерть — это движение различия в его неизбежной конечности. А это значит, что различание делает возможной саму оппозицию наличия и отсутствия. Без самой возможности различия задохнулось бы и желание наличия как такового. Иначе говоря, судьба этого желания в том, чтобы оставаться неутоленным. Различание вырабатывает то, что само же оно подвергает запрету, делает возможным то, что одновременно оно делает невозможным.

Если признать, что различание есть ступенчатое (перво)начало отсутствия и наличия — этих главных форм исчезновения и появления сущего, — то нам останется еще выяснить, не является ли участие бытия в различающей работе мысли условием его определения в качестве наличествующего или отсутствующего. Должны ли мы понимать различание как проект овладения сущим на основе смысла бытия? Можно ли помыслить нечто прямо противоположное? Если смысл бытия смог войти в историю лишь под эгидой наличия, не значит ли это, что он всегда и заведомо включался в историю метафизики как эпохи наличия? Быть может, как раз это и хотел написать Ницше, а Хайдеггер не сумел это у него прочесть? А именно: *динамика различения* - все то, что включается в понятие *различания*, хотя и не исчерпывает его, - не только предшествует метафизике, но и вообще вырывается за рамки мысли о бытии. Мысль о бытии не говорит *ничего отличного* от метафизики, даже если она вырывается за ее пределы и мыслит ее как нечто замкнутое (dans sa clôture).

От ослепления к восполнению

А теперь на основе этой проблемной схемы нам предстоит помыслить вместе и опыт Руссо, и его теорию письма, то согласие и то разногласие, которые письменно соотносят Жан-Жака с Руссо, образуя единство этого имени собственного и одновременно расщепляя его. Обращаясь к опыту Руссо, мы рассмотрим литературу как способ вновь овладеть наличием, т. е. природой; обращаясь к его теории, мы рассмотрим обвинения в адрес письма как свидетельства вырождения культуры и разрушения человеческой общности.

Если поискать в созвездии понятий те, что лучше согласуются с этим необычным единством двух различных жестов, то слово "восполнение" (supplément) окажется, видимо, самым подходящим. Ведь в обоих случаях Руссо рассматривает письмо как опасное средство, одновременно и помощь, и угрозу, как страшный ответ на ситуацию бедствия. Когда доступ к природе как самодовлению (proximité à soi) запрещается или прекращается, когда речь перестает быть защитницей наличия, тогда возникает потребность в письме. Его долг - срочно стать добавлением (s'ajouter) к сказанному слову. Предвосхищая дальнейшее, мы уже упоминали об одной из таких добавок (addition): речь - это естественное явление или по крайней мере естественное выражение мысли, некая установленная форма обозначения мысли, наиболее естественная условность, а письмо — это добавка (s'y ajoute, s'y adjoint) к речи, которая выступает как ее образ, представление. И в этом смысле письмо неестественно. Непосредственное самоналичие мысли в речи переводится на письме в представление, в образ. Обращение к письму оказывается не только "странным", но и опасным. Дело идет о техническом приеме, об искусственной и достаточно изощренной уловке, вынуждающей речь наличествовать там, где она на самом деле отсутствует. Это насилие над естественной судьбой языка:

“Языки созданы для того, чтобы на них говорили, а письмо — это лишь восполнение (supplément) речи... Речь изображает мысль посредством условных знаков, а письмо, в свою очередь, изображает речь. Таким образом, искусство письма есть лишь опосредованное изображение мысли”.

Письмо опасно потому, что в нем изображение прикидывается наличием, а знак - самой вещью. В этом есть некая роковая необходимость, вписанная в само функционирование знака: письмо выдает себя за всю полноту слова, тогда как на деле оно лишь *восполняет* его слабость и недостаточность. Ведь само понятие восполнения (оно определяет здесь образ как представление) содержит в себе два значения, сосуществование которых столь же непривычно, сколь и необходимо. Восполнение есть то, что добавляется (s'ajoute), это избыток, полнота, которая обогащает другую полноту, наполняет ее наличностью (le comble de la présence). Оно копит и накапливает наличность. И тем самым искусство, *techne*, образ, представление, условность и проч. выступают как восполнения природы и щедро *выполняют* эту накопительскую функцию. Эта *восполнительность* так или иначе определяет все те концептуальные оппозиции, в которые Руссо вписывает понятие природы, которое *должно было бы быть* самодостаточным.

Но восполнение *восполняет* (supplément *supplée*), т. е. добавляется лишь как замена. Оно *вторгается*, занимая *чужое место*; если оно и наполняет нечто, то это нечто — пустота. Оно способно представлять или изображать нечто лишь потому, что наличие изначально от-

существует. Будучи подменой (*suppléant*), восполнение оказывается заместителем, подчиненным, местоблюстителем (*qui tient lieu*). Будучи заменой (*substitut*), оно не может просто добавиться к чему-то позитивно наличному как выпуклый отпечаток на поверхности: его место в структуре отмечено знаком пустоты. Ничто и нигде не может самонаполниться: самоосуществление требует знака, передачи полномочий. Знак всегда выступает как восполнение самой вещи.

Это второе значение восполнения связано с первым. В текстах Руссо они действуют сообща, и мы постоянно будем убеждаться в этом. Однако акценты при этом меняются. Эти два значения по очереди стираются или подспудно стушеваются друг перед другом. Однако при этом они выполняют одну и ту же роль: идет ли речь о добавке или подмене - в любом случае восполнение есть нечто внешнее по отношению к той позитивности, к которой оно добавляется, оно остается чуждым тому, что - уступая ему место - должно от него отличаться. В словарях (см. словарь Робера) указывается, что, в отличие от *complément*, *supplément* означает "добавление извне".

Негативность зла всегда выступает для Руссо в форме восполнительности. Зло находится вне природы, вне того, что по природе своей предстает как невинное и благое. Зло врывается в природу извне - как подмена того, что должно было бы быть самодостаточным и не испытывать никаких нехваток.

Итак, наличие, которое всегда есть нечто природное, т. е. материнское (у Руссо этот последний момент представлен более явно, чем у кого-либо другого), должно было бы быть полностью самодостаточным. Его сущность - иное название наличия - можно прочесть лишь через решетку форм этого условного наклонения. Как и природа, "материнская забота невосполнима", говорится в "Эмиле" [170]. Она *невосполнима* (*ne se supplée*), да и не должна восполняться, она достаточна и самодостаточна, ничто не может занять ее место, а все, что притязало бы на такую подмену, не могло бы сравняться с нею, оставаясь лишь посредственным паллиативом. Все это означает, наконец, что природа невосполнима (*ne se supplée*), а то, что ее восполняет, не ею порождается: оно не только ниже природы, но и в принципе отлично от нее.

И однако воспитание - этот краеугольный камень руссоистской мысли - описывается или предписывается именно как система замен, призванных восстановить в наиболее естественном виде все здание природы. В первой главе "Эмиля" речь идет о роли такой педагогики. Хотя материнская забота и невосполнима, "лучше, чтобы младенец питался молоком здоровой кормилицы, нежели избалованной матери, в случае, если кровное родство могло бы принести новую беду" (*ibid.*). Именно культура призвана восполнять недостатки природы, которые, по определению, могли возникнуть лишь случайно, в результате отклонения природы от самой себя (*un écart de la nature*). Культура здесь — это привычка: она необходима, но не достаточна, поскольку замена матерей затрагивает "не только физическую сторону дела":

"Другие женщины и даже самки животных могли бы обеспечить его молоком, которого не дает ему мать, однако материнская забота невосполнима. Женщина, которая кормит не своего, а чужого ребенка, — плохая мать; как же она может быть хорошей кормилицей? Она

могла бы стать ей, но не сразу: нужно, чтобы привычка изменила естество... " (там же).

Здесь проблемы естественного права, отношений между природой и обществом, понятия отчуждения, инаковости, изменения стихийно согласуются с педагогической проблемой подмены матерей и детей:

"Из этого преимущества возникает неудобство, которого вполне достаточно, чтобы благоразумная женщина не решилась отдать своего ребенка кормилице, разделив с ней или передав ей свои материнские права, — чтобы потом увидеть, что ее ребенок любит другую женщину так же, или даже больше, чем собственную мать..." (там же).

Итак, уже имея в виду тему письма, мы начинаем с замены матерей; и все это потому, что, как говорит Руссо, "из этого вытекает гораздо больше следствий, нежели обычно думают":

"Я не стал бы так на этом настаивать, если бы не приходил в отчаяние от бесполезного обсуждения столь важных тем. Из этого вытекает гораздо больше следствий, нежели обычно думают. Вы хотите заставить каждого выполнять свой первейший долг? Так начните с матерей, и вы достигнете удивительных изменений. Все дальнейшее проистекает из этого первичного извращения: моральный порядок колеблется, естество угасает в человеческих сердцах..." (с. 18).

Детство — это самое первое проявление недостаточности, которая в природе взывает к восполнению. Педагогика наиболее четко проясняет парадоксы такой восполнительности. Как возможна природная, естественная слабость? Как может природа требовать сил, которых сама она не дает? Как вообще возможен ребенок?

“ "У ребенка нет лишних сил — ему и своих не хватает, чтобы справиться с тем, чего требует от него природа; а значит, нужно дать ему возможность пользоваться, причем на благо, всеми теми силами, которыми он располагает. Это первая максима. Ребенку нужно помочь, добавив (*suppléer*) то, чего ему не хватает - либо ума, либо силы, если речь идет от физических потребностях. Это вторая максима" (с. 50).

Вся организация воспитательного процесса направляется этим необходимым злом, требующим "восполнить недостатки", подменить природу. Однако прибегать к восполнениям следует как можно меньше и как можно позже. "Одно из лучших правил подлинной культуры заключается в том, чтобы замедлять все, насколько возможно" (с. 274). "Предоставьте природе возможность действовать как можно дольше, прежде чем вы начнете вмешиваться в ее дела и действовать вместо нее" (с. 102. Курсив наш).

Если бы не было детства, восполнение никогда не возникло бы в природе. Иначе говоря, восполнение для человечества — это одновременно и счастливая возможность, и начало его упадка. Благо для человечества заключается вот в чем:

"Растения возвращаются земледелием, люди - воспитанием. Когда человек рождается высоким и сильным, его рост и сила могут стать ему полезными лишь после того, как он научится ими пользоваться; более того, ему даже невыгодно быть высоким и сильным, так как из-за этого люди не замечают, что ему нужна помощь; оставшись в одиночестве, он умер бы в нищете, не успев даже осознать собственные потребности. Мы недовольны детством и не понимаем, что род человеческий был бы обречен на гибель, если бы человек поначалу не был ребенком" (с. 67).

А вот в чем угроза упадка:

“ "Давая детям способность к действию, Творец природы позаботился о том, чтобы причинить им как можно меньше вреда, и потому ограничил их силы. Как только дети замечают, что окружающие их люди - это своего рода орудия, которыми они могут пользоваться, они начинают делать это, чтобы угождать своим склонностям и восполнять свои недостатки. Именно так они становятся невыносимыми, деспотичными, докучливыми, злыми, необузданными; и дело тут вовсе не в естественном духе господства, но в том, что им его прививают; ведь не нужно много времени, чтобы почувствовать, как приятно, когда за тебя работают другие, а тебе достаточно лишь пошевелить языком, чтобы привести в движение всю вселенную" (с. 49. Курсив наш).

Восполнение всегда предполагает это — пошевелить языком или заставить других работать на себя. В нем сосредоточены и прогресс как возможность упадка, и регресс в сторону зла, который вовсе не является естественным, но связан с властью замены, позволяющей нам, отсутствуя, действовать, передавая полномочия другим, действовать чужими руками. Действовать посредством письма. Эта подмена неизменно принимает знаковую форму. Знак, образ, представляющее становятся силами, "приводящими в движение всю вселенную", - вот в чем парадокс (*le scandale*).

Ущерб от этого парадокса подчас оказывается непоправимым, и тогда вся вселенная начинает вращаться в обратную сторону (далее мы увидим, что может значить для Руссо подобная катастрофа): природа тогда оказывается обратной заменой (*supplément*) искусства и общества. Именно в этот момент зло кажется уже неизлечимым: "Раз ребенок не умеет излечиться, пусть хотя бы умеет болеть: одно искусство заменяет другое и часто приносит лучшие результаты — ведь это искусство самой природы (с. 31). Это как раз тот момент, когда природу-мать уже не любят так, как должны были бы ее любить - за то, какова она есть в своей непосредственной близости ("О природа! О мать моя! Вот я, твой единственный страж, нет на свете такого человека, сколь угодно ловкого и лукавого, который бы нас разъединил!" ("Исповедь", кн. XII), когда природа становится подменой другой любви и другой привязанности:

“ "Созерцание природы всегда влечет его сердце; этим он заменяет другие привязанности, в которых он нуждается; правда, если бы у него был выбор,

он предпочел бы самое вещь, а не ее замену; он начинает беседовать с растениями лишь после того, как его попытки беседовать с людьми оказываются тщетными" ("Диалоги", с. 794).

То, что ботаника становится такой подменой общества, это не просто катастрофа, но катастрофа в катастрофе, поскольку в природе растение - это сама естественность, сама жизнь. Минералы отличны от растений: это мертвая полезная природа, угодная человеческой предприимчивости. Когда человек теряет смысл и вкус к подлинным богатствам природы — растениям, — он начинает рыться в чреве своей матери, подвергая опасности свое здоровье:

“ "Царство минералов не содержит в себе ничего приятного и притягательного; богатства земных недр словно скрыты от взглядов человека, дабы не распалить его жадности. Там они как бы отложены про запас, чтобы когда-нибудь послужить восполнением тех подлинных богатств, которые более доступны человеку, но наскучивают его развращенному вкусу. Он развивает промышленность и трудится в поте лица своего, чтобы спасти себя от нищеты; он роется в недрах земли, рискуя жизнью и здоровьем, ради воображаемых благ — вместо тех действительных благ, которые она сама ему предоставляла, пока он умел ими пользоваться. Он избегает солнца и дня, которых больше недостойн" [171].

Таким образом, человек сам выкалывает себе глаза, ослепляет себя желанием рыться в недрах матери-природы. А вот страшная кара за эту ошибку, за эту, казалось бы, нехитрую подмену:

“ "Он погребает себя заживо — и правильно поступает, так как не достоин больше жить при свете дня. Там каменоломни, кузницы, печи, целый набор наковален, молотов, дым и огонь приходят на смену милым образам полевых работ. Бледные лица несчастных, томящихся среди вредоносных паров в копях, черные кузнецы, безобразные циклопы — вот зрелище, которое мир копей в недрах земли ставит на место зелени и цветов, лазурного неба, влюбленных пастухов и могучих земледельцев на ее поверхности"[172].

Это - парадокс (*le scandale*), это катастрофа. Такого восполнения не допускает ни природа, ни разум. Ни природа, "наша общая мать" ("Прогулки", с. 1066), ни мыслящий и даже резонерский разум ("О состоянии природы", с. 478). Разве не делали они все возможное, чтобы избежать этой катастрофы, защититься от насилия, уберечь нас от роковой ошибки? Так, насчет шахт и копей во "Втором рассуждении" говорится: "...природа, можно сказать, приняла все меры предосторожности, чтобы скрыть от нас эту роковую тайну" (с. 172). Не забудем, что насилие над земными недрами и самый момент ослепления в руднике, т. е. металлургия, - это (перво)начало общества. Ведь по Руссо (мы будем в этом неоднократно убеждаться), земледелие как признак цивилизованного общества уже предполагает начатки металлургии. Это ослепление порождает нечто появляющееся на свет вместе с обществом: а именно языки, упорядоченную замену (*substitution*) вещей знаками, сам

порядок восполнения. Таким образом, мы движемся от *ослепления к восполнению*. Правда, слепой изначально не может видеть того, что он сам создает для восполнения этой нехватки зрения. *Неспособность видеть восполнение* есть закон. И прежде всего — это слепота к самому понятию восполнения. Впрочем, уловить механизм его использования недостаточно, чтобы увидеть его смысл. Восполнение не имеет смысла и не улавливается никакой интуицией. Мы и не пытаемся здесь извлечь его из этой диковинной полутьмы. Мы лишь говорим, что там нечто скрыто.

Разум неспособен осмыслить это двойное вторжение в природу: то, что в природе есть какая-то нехватка, и то, что тем самым нечто добавляется к ней. Впрочем, нельзя сказать, будто разум не в силах это помыслить, поскольку именно это бессилие и конституирует разум. Разум — это принцип тождества, это мысль о самотождественности природного бытия. Разум не может даже определить восполнение как свое собственное другое, как нечто иррациональное или не-рациональное, поскольку это восполнение естественным образом подменяет природу. Восполнение - это образ, представление природы. Иначе говоря, образ не находится ни внутри природы, ни вне ее. Тем самым восполнение опасно и для разума, для его природного здоровья.

"Опасное восполнение". Это слова Руссо из "Исповеди". Он пользуется ими в контексте, ином лишь по видимости, пытаясь объяснить как раз "состояние, почти непостижимое для разума": "Словом, между мною и самым пылким любовником было лишь одно-единственное, но весьма существенное различие, которое и делает мое состояние почти непостижимым для разума" ("Pléiade", I, p. 108-109).

Считая следующий за этим текст Руссо своего рода образцом, мы даем ему лишь предварительную оценку, не предвосхищая всего того, что сможет открыть в нем будущее чтение как строгая дисциплина. Никакой способ чтения, видимо, не годится для этого текста, который мы хотели бы прочитать именно как текст, а не как документ. Прочитать со всей возможной полнотой и строгостью, причем уже по ту сторону всего того, что в нем удобочитаемо и понятно — даже более понятно, чем ранее казалось. Единственная наша цель — обнаружить значение, без которого не могло бы обойтись то чтение, к которому мы призываем: речь идет об "экономии" письменного текста, вращающегося среди других текстов и непрестанно к ним отсылающего, текста, соотнесенного как со стихией языка, так и с его упорядоченным функционированием. К примеру, связь слова "восполнение" с соответствующим понятием вовсе не была изобретением Руссо, не сумевшего вполне овладеть ее самобытным функционированием. Однако она не была просто задана историей и языком, историей языка. Говорить о письме Руссо — значит стремиться понять то, что не улавливается категориями пассивности и активности, ослепления и ответственности. Отвлечься от письменного текста и устремиться навстречу тому, что должен был бы означать (*voudrait dire*) этот текст, в данном случае тем более трудно, что означаемое здесь — само письмо. У нас очень мало шансов найти истину, обозначенную этими текстами (истину метафизическую или истину психологическую — т. е. жизнь Жан-Жака за его творениями): ведь если заинтересовавшие нас тексты что-то и означают (*veulent dire*), то они говорят нам лишь о вовлеченности, о взаимной принадлежности жизни и письма единой ткани, единому тексту. Именно это мы и называем здесь восполнением, или, иначе, различАнием.

Вот оно - вторжение опасного восполнения в природу, расщепление им природы, внедрение его между естественной невинностью как непорочностью (*virginité*) и естественной невинностью как девственностью (*puceselage*): "Одним словом, между мною и самым пылким любовником есть лишь одно-единственное, но весьма существенное различие, которое и делает мое состояние почти непостижимым для разума". Хотя следующий абзац начинается с красной строки, именно в нем содержится объяснение этого "единственного различия", равно как и "состояния, почти непостижимого для разума". Руссо продолжает:

“Я вернулся из Италии не совсем таким, каким отправился туда, но каким в моем возрасте никто оттуда, может быть, не возвращался. Я принес оттуда не непорочность, а девственность. Я возмужал, мой беспокойный темперамент наконец пробудился, и первый порыв его, совершенно невольный, поверг меня в тревогу о моем здоровье, и это лучше, чем что-либо другое, рисует невинность, в какой я пребывал до сих пор. Вскоре, успокоившись, я познал это опасное восполнение - обман природы, который спасает молодых людей моего склада от настоящего распутства за счет их здоровья, силы, а иногда и жизни" (*"Pléiade"*, I, p. 108-109).

В "Эмиле" (кн. IV) мы читаем: "Тот погиб, кто хотя бы единожды познал это опасное восполнение, эту подмену". В той же книге ставится вопрос о том, "как осуществить восполнение, обгоняя опыт" (с. 437), о "духе", который "восполняет телесные силы" (с. 183).

Автоэротическому опыту сопутствует тревога. Мастурбация способна успокоить ("вскоре, успокоившись"), лишь порождая чувство вины, обычно связанное с этой практикой: дети чувствуют вину и интериоризируют сопровождающую ее угрозу кастрации. И потому наслаждение переживается как невосполнимая потеря жизненной субстанции, как незащищенность перед безумием и смертью. Наслаждение достигается "за счет их здоровья, сил, а иногда и жизни". Подобно этому в "Прогулках" говорится о человеке, который "роется в недрах земли, рискуя жизнью и здоровьем, он стремится найти в центре ее воображаемые блага вместо тех действительных, которые она сама предоставляла ему, пока он умел ими пользоваться".

Речь здесь идет о воображаемом. Восполнение как "обман матери-природы" действует подобно письму и оказывается столь же опасным для жизни, причем опасность эту порождает образ. Подобно тому, как письмо обнажает кризис живой речи, ее деградацию в "образе", рисунке или представлении, так онанизм возвещает разрушение жизненных сил в соблазнах воображения:

“Этот порок, столь удобный стыдливым и робким, имеет особую привлекательность для людей с живым воображением, давая им, так сказать, возможность распорядиться всем женским полом по своему усмотрению и заставлять служить себе прельстившую красавицу, не имея нужды добиваться ее согласия".

Эта опасное восполнение, которое Руссо называет также "пагубным преимуществом", есть соблазн: оно уводит желание с прямой дороги, заставляет его блуждать вдали от путей, проложенных самой природой, приводит к потере себя, к падению и потому оказывается чем-то ошибочным, греховным (skandalon). Тем самым оно разрушает природу. Однако греховность разума заключается в том, что подобное разрушение природы кажется ему более чем естественным. Ведь это я сам стремлюсь избавиться от силы, данной мне природой: "Соблазненный этим пагубным преимуществом, я стал разрушать дарованный мне природой крепкий организм, который к этому времени вполне развился". Известно, какое большое значение придается в "Эмиле" времени, медленному созреванию природных сил. Все педагогическое искусство строится на терпеливом расчете, дающем природе время, необходимое для ее работы и свершений, уважающем ее ритм и последовательность ее развития. Иначе говоря, это опасное восполнение стремительно разрушает те силы, которые природа медленно создавала и накапливала. "Опережая" естественный опыт, оно перескакивает через этапы развития и безвозвратно поглощает энергию. Подобно знаку (мы убедимся в этом позже), оно позволяет обойтись без наличной вещи и непрерывно длящегося бытия.

Это опасное восполнение порывает с природой. Всякое описание такого отдаления от природы театрализовано. В мизансценах "Исповеди" речь об опасном восполнении заходит в те моменты, когда нужно воочию показать отдаление или нечто такое, что не есть ни то же самое, ни другое; природа отклоняется от самой себя одновременно с матерью, или, скорее, с "маменькой", что уже заведомо означает исчезновение настоящей матери и ее весьма двусмысленную замену. Речь идет, таким образом, о дистанции между «маменькой» и тем, кого она называет "маленьким" [173]. Как говорится в "Эмиле", все зло происходит из того, что "женщины перестали быть матерями; они больше не будут матерями, они не хотят ими быть" (с. 18). Это как бы отсутствие как бы матери. Этот опыт нужен, чтобы стусевать (réduire) это отсутствие и одновременно сохранить его. Это тайный опыт - опыт вора, которому приходится стать невидимкой: ему нужно, чтобы мать была невидима и сама при этом не могла видеть. Нередко приводят следующие строки:

“ "Я никогда не кончил бы моего рассказа, если б стал подробно описывать те безумства, какие заставляла меня проделывать мысль о моей дорогой маменьке, когда я не был у нее на глазах. Сколько раз целовал я свою постель, при мысли о том, что она спала на ней, занавески, всю мебель в моей комнате - при мысли о том, что они принадлежали ей и ее прекрасная рука касалась их, даже пол, на котором я простирался, - при мысли, что она по нему ступала. Иногда в ее присутствии мне случалось выкидывать нелепые проделки, которые могли быть внушены, кажется, только самой пылкой любовью. Однажды за столом, в тот момент, когда она положила кусок в рот, я крикнул, что на нем волос; она выбросила кусок на тарелку; я жадно схватил его и проглотил...[174] Одним словом, между мною и самым пылким любовником есть лишь одно-единственное, но весьма существенное различие, которое и делает мое состояние почти непостижимым для разума..." Несколько выше говорится: "Я чувствовал всю силу моей привязанности к ней лишь тогда, когда я ее не видел" (с. 107).

Цепочка восполнений

Открытие опасного восполнения, следовательно, упоминается наряду с другими "безумствами", однако в нем есть особое преимущество, и потому Руссо говорит о нем в последнюю очередь и видит в нем объяснение состояния, непостижимого для разума. Ибо дело здесь не в переносе наслаждения на какой-то отдельный предмет-заместитель, но скорее в переживании этого наслаждения, в его разыгрывании — *непосредственно и во всей его целостности*. Дело ведь не в том, чтобы целовать постель, пол, занавески, мебель и т. д. или же "проглатывать" "кусочек, который она положила в рот", но в том, чтобы "располагать по своему усмотрению всем женским полом".

Можно было бы сказать, что вся эта "театральная сцена" предполагает не только декорацию в общепринятом смысле, т. е. совокупность второстепенных деталей: важна и пространственная локализация опыта. Жан-Жак находится в доме г-жи де Варане: достаточно близко от "маменьки", чтобы видеть ее, питая этим свое воображение, но вместе с тем имея возможность уединиться. Замена (*suppléance*) становится возможной и необходимой именно в тот момент, когда мать исчезает. Эта игра наличия и отсутствия матери, это чередование непосредственного восприятия и воображения требуют соответствующей организации пространства. Руссо продолжает так:

“ Пусть прибавят к этой склонности обстановку, в которой я тогда находился, живя у красивой женщины, лелея ее образ в глубине своего сердца, постоянно встречаясь с ней днем, окруженный по вечерам предметами, напоминающими мне о ней, засыпая в постели, в которой, я знал, она спала раньше! Сколько возбудителей! Иной читатель, представив их себе, уже видит меня полумертвым. Совсем напротив, именно то, что должно было бы погубить меня, послужило к моему спасению, по крайней мере на время. Опьяненный счастьем жить подле нее, пламенным желаньем провести с ней все мои дни, я всегда видел в ней, отсутствующей или присутствующей, нежную мать, дорогую сестру, очаровательную подругу и ничего больше... она была для меня единственной женщиной на свете, и необычная нежность чувств, которую она мне внушала, не оставляя моей чувственности времени пробудиться по отношению к другим, предохраняла меня как от нее самой, так и от всех представительниц ее пола".

Итак, этот опыт не был событием, оставившим свою мету в самый ранний или подростковый период. Он не только создал и укрепил — как некая скрытая основа — все здание значений. Он остался действенным навязчивым переживанием, в котором "наличное" постоянно возобновляется и вновь строится - и так до самого конца "жизни" и "текста" Жан-Жака Руссо. Чуть позже, чуть дальше в тексте "Исповеди" (кн. IV) [175] Руссо говорит нам о "некоем случае, о котором нелегко рассказать": он встретил человека "с тем же пороком". Жан-Жак в ужасе обращается в бегство, "весь дрожа", как будто он только что "совершил преступление". "Такое воспоминание надолго меня от этого излечило".

Надолго ли? К онанизму, который позволяет самовозбуждаться, предоставляя в распоряжение отсутствующих красавиц, Руссо прибегал всегда и всегда укорял себя за это. В его глазах онанизм остался воплощением порока и извращения. Возбуждение, которое мы испытываем от самого наличия другого человека, *изменяет и нас самих*. Руссо не хочет и не может понять, что это изменение не врывается извне, но изнутри порождает человеческое Я. Он видит в этом случайное зло, которое, вторгаясь извне, нарушает неприкосновенную целостность субъекта. Но он не может отказаться от того, что позволяет ему непосредственно наслаждаться желанным наличием другого, равно как он не может отказаться и от языка. Вот почему и в этом смысле, так же, как говорится в "Диалогах" (с. 800), "до конца дней своих, уже в старости, он все еще оставался ребенком".

Восстановление наличия посредством языка одновременно и символично, и непосредственно. Над этим противоречием стоит подумать. Речь идет об опыте непосредственного восстановления — опыте, который, будучи опытом и вместе с тем - сознанием, может обойтись и без мира. Самоприкосновение, самовозбуждение притворяется вполне самодостаточным. Коль скоро якобы наличное есть лишь символическая подмена другого наличия, можно возжелать наличия лишь тогда, когда ему уже предшествует ранее начавшаяся игра замещений и символический опыт самовозбуждения. Сама вещь не может появиться вне символической системы, существование которой предполагает возможность самовозбуждения. Таков и опыт непосредственного восстановления: он *не допускает промедления*. Он требует удовлетворения сразу и на месте. А если и возникает промедление, то вовсе не потому, что приходится дожидаться другого. При этом наслаждение как бы и не отсрочивается. "К чему столько мучений в отдаленной надежде на столь малый и столь сомнительный успех, если можно прямо тут же, на месте..." ("Диалоги").

Однако то, что более не отсрочивается, отсрочивается в абсолютном смысле. То наличие, которое дается нам в настоящем, оказывается химерой. Самовозбуждение - это чистая спекуляция. Знак, образ, представление, которые восполняли отсутствующее наличие, суть иллюзии, обман. Чувство вины, страх смерти и кастрации дополняют, сливаясь с ними, опыт фрустрации. Обман (*donner le change*): при любом понимании этого выражения оно требует обращения к восполнению. Чтобы объяснить нам свое отвращение к "сношению с проститутками", Руссо рассказывает, что "склонность, которая изменила все [его] страсти" ("Исповедь", с. 41) [176], не исчезла и в Венеции, когда ему был уже 31 год: "Я не потерял печальной привычки обманывать мои потребности" (с. 316).

Таким образом, наслаждение самой вещью — и само это действие, и его сущность — пронизано фрустрацией. Стало быть, нельзя сказать, будто наслаждение имеет сущность или же является действием (*eidōs, ousia, energeia* и т. д.). Брезжит, скрываясь, дается, смещаясь, нечто такое, что, строго говоря, нельзя назвать наличием. Таково время восполнения, такова выходящая за рамки языка метафизики структура, "почти непостижимая для разума". Почти непостижимая: если бы нечто было просто иррациональным, прямо противоположным разуму, оно бы меньше раздражало и сбивало с пути классическую логику. Восполнение сводит с ума, поскольку, не будучи ни наличием, ни отсутствием, оно починает и наше наслаждение, и наше целомудрие: "...воздержание и наслаждение, удовольствие и мудрость - всего этого я был лишен" ("Исповедь", с. 12).

Как все это и в самом деле запутанно! Символическое дается непосредственно, наличное отсутствует, немедленно осуществленное оказывается отсроченным, а наслаждение несет в себе угрозу смер-ти; Однако эту систему, эту нелепую "экономия" восполнения нужно дополнить еще одним знаком. Отчасти его уже можно прочесть. Будучи страшной угрозой, восполнение оказывается также первой и самой надежной защитой - прежде всего против самой этой угрозы. Вот почему от него невозможно отказаться. И сексуальное самовозбуждение, т. е. самовозбуждение как таковое, не начинается и не кончается тем, что подразумевается под словом "мастурбация". Восполнение не только способно обеспечить отсутствующее наличие с помощью его образа: осуществляя это посредством знака как полномочного представителя, оно держит отсутствующее наличие на расстоянии и управляет им. В самом деле, ведь это наличие внушает одновременно и желание, и страх. Восполнение и нарушает запрет, и блюдет его. Все это и обеспечивает возможность письма как восполнения речи, но также и речь как письмо вообще. Эта "экономия" одновременно и подвергает нас опасности, и защищает нас игрой сил и различий между ними. Так, восполнение опасно как то, что несет угрозу смерти, но оно, согласно Жан-Жаку Руссо, не опасней "сношений с женщинами". Наслаждение само по себе — вне системы символов и восполнений, то, что связало бы нас с чистым наличием как таковым, если бы нечто подобное было вообще возможно, — есть лишь другое имя смерти. Руссо так и говорит:

“ "Наслаждение! Разве в нем участь человека? Ах! Если бы когда-нибудь хоть один-единственный раз в жизни я испытал во всей полноте все восторги любви, то вряд ли мое хрупкое существо смогло бы это перенести, я бы тогда просто сразу умер" ("Исповедь", кн. VIII).

Если довериться этой универсальной очевидности, всеобщему и априорному значению этого высказывания-вздоха, то придется тут же признать, что "сношения с женщинами" (или гетероэротизм) вообще не могут быть пережиты (на самом деле, или, как говорят, реально) без умения стать самому себе защитой и восполнением. Иначе говоря, между автоэротизмом и гетероэротизмом нет жесткой границы, но есть "экономическое" распределение функций. Лишь в рамках этого общего правила могут вычленяться различия — в том числе и то, что отличает Руссо. Прежде чем пытаться очертить в чистом виде специфику системы и письма Руссо (на что мы здесь не претендуем), следует прежде всего выявить взаимные сорасчленения (articuler) всех их структурно- или сущностно-необходимых черт на различных уровнях обобщения.

Лишь на основе вполне определенного представления о "сношениях с женщинами" Руссо вынужден был всю свою жизнь прибегать к опасному восполнению, именуемому мастурбацией и неразрывно связанному с его писательской деятельностью. И так — до конца. Тереза — та самая Тереза, о которой мы можем говорить, Тереза, присутствующая в тексте, та, чье имя и "жизнь" принадлежат письмам, которые мы читаем, — прочувствовала все это на самой себе. В кн. XII "Исповеди", в тот момент, когда "надо сказать все", нам поверяется "двойная причина" нескольких "решений":

“ "Надо сказать все: я не утаил ни пороков моей бедной маменьки, ни своих собственных; я не должен щадить и Терезу; и каким бы удовольствием ни

было для меня воздать честь столь дорогому мне существу, я не хочу скрывать ее недостатков, если только невольное угасание сердечных привязанностей может считаться недостатком. Уже давно стал я замечать ее охлаждение... Я опять попал в то же затруднительное положение, последствия которого испытал с "маменькой", и те же самые последствия оно вызвало и у Терезы. Не будем искать совершенства за пределами естества; вероятно, то же самое случилось бы с любой женщиной... Между тем мое положение было теперь такое же и даже еще хуже из-за злобы моих недоброжелателей, только и жаждавших уличить меня в чем-нибудь дурном. Я опасался рецидива и, не желая этим рисковать, предпочел обречь себя на воздержание, чем подвергнуть Терезу опасности снова стать матерью. К тому же я заметил, что сношения с женщинами сильно ухудшают мое здоровье. Это двоякая причина заставила меня принимать решения, которые я иногда плохо выполнял; но за последние три-четыре года я выполнял их гораздо строже" (с. 595).

В "Парижской рукописи" после слов "сильно ухудшают мое здоровье" мы читаем: "...другой сходный порок, от которого я никогда не мог избавиться, казался мне менее вредным. Эта двоякая причина..." [177] Это извращение - предпочтение, отдаваемое знаку, защищает меня от смертельно опасных издержек. Пусть так. Однако эта явно эгоистическая экономия функционирует в целостной системе этических представлений. Плата за эгоизм - чувство вины. Все это превращает автоэротизм в роковую потерю, в самоизувечение. Однако это извращение, приносящее вред лишь мне одному, не заслуживает особого порицания. Руссо объясняет это в нескольких своих письмах. Например: "Поскольку мои пороки вредили лишь мне одному, я и могу обнажить перед всем светом безупречную жизнь со всеми тайнами моей души" (г-ну Сен-Жермену, 26-2-70). "У меня много пороков, но они вредят лишь мне самому" (г-ну Ленуару, 15-1-72) [178]. Таким образом, Жан-Жак мог искать восполнения в Терезе лишь при одном условии: чтобы сама возможность системы восполнений как таковая уже существовала, чтобы игра подмен уже началась, чтобы *в некотором смысле сама Тереза уже была восполнением*. Ведь и маменька уже была восполнением некоей неизвестной матери, да и сама "настоящая мать", перед которой встают в тупик все известные "психоанализы" Руссо, тоже в некотором роде изначально была восполнением, даже если "на самом деле" она вовсе не умерла в родах. Вот она - эта цепь восполнений. Само имя маменьки уже означает такое восполнение:

“ "Ах, моя Тереза, я слишком счастлив, что обладаю тобой, скромной, здоровой, и избежал того, чего боялся. (Речь идет о потере "девственности" в результате неопытности Терезы: она только призналась в этом своем проступке.) Я искал сначала просто возможности развлечься. Я увидел, что достиг большего — нашел себе подругу. Немного привыкнув к этой превосходной девушке и поразмыслив о своем положении, я понял, что думал только о своем удовольствии, а встретил счастье. Взамен угасшего честолюбия мне нужно было сильное чувство, которое наполнило бы мое сердце. Нужно было, если уж говорить до конца, найти преемницу "маменьке": раз мне не суждено было жить с ней, мне нужен был кто-нибудь, кто стал бы жить с ее

воспитанником и в ком бы я нашел простоту, сердечную покорность, которую она находила во мне. Надо было, чтобы отрада честной и домашней жизни вознаградила меня за отречение от помыслов о блестящей судьбе. Оставшись совсем один, я почувствовал пустоту в сердце; но достаточно было другого сердца, чтобы наполнить его. Судьба отняла у меня и сделала чужим - отчасти по крайней мере - то существо, ту женщину, для которой природа меня создала. С тех пор я был одинок, так как *для меня никогда не существовало посредника между всем и ничем. В Терезе я нашел восполнение, в котором нуждался*" [179].

В этой цепочке восполнений обнаруживается своего рода необходимость - необходимость в бесконечном сцеплении звеньев, в неотвратимом умножении восполняющих посредников, которые и вырабатывают смысл того, что при этом отодвигается-отсрочивается, а именно иллюзию самой вещи, непосредственного наличия, изначального восприятия. Все непосредственное уже заведомо оказывается производным. Все начинается с посредника, и именно это оказывается "непостижимым для разума".

Из круга вон выходящее (l'exorbitant). Проблема метода

"Для меня никогда не существовало посредника между всем и ничем". Посредник — это середина, переход, средний термин между полным отсутствием и абсолютной полнотой наличия. Как известно, Руссо настойчиво стремился устранить все то, что можно было бы назвать "опосредствованной" (médiateté). И это желание он выражал смело, остро, предметно. Оно не нуждается в расшифровке. И вот именно о нем вспоминает Жан-Жак, когда распутывает цепь нанизанных друг на друга восполнений, замещающих мать или природу. Восполнение находится где-то посередине между полным отсутствием и полным наличием. Игра этих замен одновременно и восполняет нехватку, и оставляет на ней свою мету. Однако Руссо рассуждает так, будто уже одно только обращение к восполнению (в данном случае — к Терезе) могло разрешить все его беспокойства по поводу посредничества: "С тех пор я был одинок, так как для меня никогда не существовало посредника между всем и ничем. В Терезе я нашел восполнение, в котором нуждался". Пагубность этого понятия тем самым ослабляется — как если бы удалось его урезонить (arraisonner), одомашнить, приручить.

Это ставит перед нами вопрос об употреблении слова "восполнение", о месте Руссо внутри той системы языка и логики, которая сообщает этому слову и понятию захватывающую (surprenante) силу: пользуясь им, говорящий всегда может высказать больше, меньше или же нечто иное по сравнению с тем, что он хотел бы сказать. Таким образом, это вопрос не только о письме Руссо, но и о нашем прочтении. Прежде всего мы должны дать себе строгий отчет в этом охвате или захвате (de cette prise ou de cette surprise), в том, что писатель пишет, находясь внутри языка и внутри логики, и потому его речь, по определению, не может полностью овладеть их собственной системой, законами, жизнью как таковыми.

Писатель может использовать этот язык и логику, лишь подчиняясь - в известном смысле и до известного предела — этой их системе. И наше чтение всегда должно иметь в виду это незаметное для самого писателя отношение между тем, чем он владеет, и тем, чем он не владеет в схемах своего языка. Отношение это не есть количественное распределение тени и света, слабости и силы: это означающая структура, которую должно выработать (*produire*) само критическое чтение.

Что значит здесь — выработать? В поисках объяснения нам придется приступить к обоснованию наших принципов чтения. Это, как мы далее увидим, отрицательное обоснование: методом исключения оно очерчивает то пространство чтения, которое у нас здесь остается пустым, или, иначе, саму задачу чтения.

Очевидно, что для выработки означающей структуры не годится самоустраняющийся и почтительный двойник-комментарий, нацеленный на воспроизведение осознанного, свободного, интенционального отношения, возникающего в процессе взаимодействий между писателем и историей, которой он причастен благодаря стихии языка. Конечно, дублирующий комментарий должен иметь свое место и в критическом чтении. Если не учитывать и не соблюдать все комментаторские правила - а это дело нелегкое и требует полного набора орудий традиционной критики, - то без всего этого критическая работа рискует обратиться неизвестно куда и заявить неизвестно что. Однако комментарий, эта незаменимая предосторожность, может лишь поставить охрану при входе, но не может открыть перед нами чтение.

Итак, чтение не должно ограничиваться удвоением текста, однако оно не имеет права и выходить за его рамки, обращаясь к чему-то другому - к внешнему объекту (метафизическая, историческая, психобиографическая и прочая реальность) или к внетекстовому означаемому, содержание которого бы возникло (или могло бы возникнуть) вне языка, т. е., в нашем смысле слова, вне письма как такового. Вот почему те методологические размышления по конкретному поводу, на которые мы здесь отваживаемся, непосредственно вытекают из общих предпосылок, изложенных выше, - об отсутствии предметной соотнесенности или трансцендентального означаемого. *Внетекстовой реальности вообще не существует* (Il n'y a pas de hors-texte). И вовсе не потому, что нас не интересует жизнь Жан-Жака или же существование "маменьки" или Терезы как таковых, и не потому, что у нас нет иного доступа к их так называемому "реальному" существованию, кроме как через текст; не потому, что мы не можем поступить иначе и должны помнить об этом ограничении. Уже и всех названных причин нам хватит с лихвой, но есть и другие, более веские основания. Как мы пытались здесь доказать, следуя путеводному понятию "опасного восполнения", так называемая реальная жизнь существ "из плоти и крови" — по ту сторону того, что можно было бы назвать сочинениями Руссо, — всегда была письмом и только письмом. Там были только восполнения и значащие замены, которые могли возникнуть лишь в цепи отсрочивающих отсылок, так что "реальное" могло появиться, добавиться и осмыслиться лишь на следах восполнения и по его призыву... И так до бесконечности, ибо в тексте мы читаем, что всякое абсолютное наличие — природа, то, что называется "реальной матерью", и т. д. — все это уже исчезло или же вовсе не существовало, а смысл и язык открываются нам лишь благодаря письму как отсутствию некоего естественного наличия.

Хотя наше прочтение и не является комментарием, оно должно осуществляться внутри текста, не выходя за его пределы. Вот почему, вопреки видимости, определение слова "восполнение" никоим образом не является здесь психоаналитическим, если считать психоаналитическим истолкование, уводящее нас за пределы письма к психобиографическому означаемому или даже к общей психологической структуре, которую мы были бы вправе отделить от означающего. Такой подход подчас противопоставляет себя традиционному комментарию-двойнику. Однако, по сути, он легко с ним сочетается. *Безмятежность, с которой комментарий утверждает самотождественность текста, уверенность жеста, очерчивающего его границы, — все это легко уживается со спокойной убежденностью, совершающей из текста прыжок вовне, к его предполагаемому содержанию обок с чистым означаемым.* И в самом деле, применительно к Руссо психоаналитические исследования в духе д-ра Лафорга сперва прочитывают текст самыми традиционными методами и лишь затем вырываются за его рамки. Вычитывание "симптомов" из литературы — нет ничего более банального, школярского, наивного. Если мы не видим саму ткань "симптома", его фактуру, то мы с легкостью перескакиваем к психобиографическому означаемому, связь которого с литературным означающим становится тогда чисто внешней и случайной. Другая грань того же жеста проявляется тогда, когда в общих работах о Руссо, в привычном ансамбле, выдающем себя за синтез и точную реконструкцию "мысли и дела" Руссо путем комментария и систематизации, вдруг появляется глава биографического и психоаналитического типа о "проблеме сексуальности у Руссо" со ссылками на его историю болезни в приложении.

Отделить означаемое от означающего путем истолкования или комментария и тем самым уничтожить письмо другим письмом, письмом-чтением, невозможно в принципе. Тем не менее мы полагаем, что сама эта невозможность по-разному складывается (*articuler*) в истории. Она не ограничивает опыты расшифровки определенной формой или мерой, ей не нужны одни и те же правила. Здесь необходимо принять во внимание историю текста как такового. Когда мы говорим о писателе и о том, как над ним тяготеет язык, это относится не только к писателю-словеснику. Этому захвату подчиняются и философ, и летописец, и мыслитель-теоретик — вообще и в конечном счете всякий, кто пишет. Но в каждом отдельном случае пишущий включен в какую-то определенную систему текста. Хотя чистого означаемого и не существует, имеется целый ряд различных отношений в зависимости от того, какая часть означающего притворяется неразстворимым слоем означаемого. Например, философский текст, который фактически всегда существует в письменном виде, содержит — именно как нечто специфически философское — установку на самостирание перед тем обозначаемым содержанием, которое этот текст несет в себе и преподает нам. Наше чтение должно стремиться учесть эту цель, даже если в конечном счете она окажется неосуществимой. С этой точки зрения и должна изучаться любая история текстов, в том числе и история литературных форм на Западе. За исключением моментов резкого прорыва и моментов сопротивления (осознаваемых достаточно поздно), литературное письмо - почти всегда и почти везде, в разное время по-разному -предоставляет себя для такого трансцендирующего чтения, для такого поиска означаемого, который мы подвергаем здесь сомнению, -не для того, чтобы просто его отменить, но чтобы понять его внутри системы, увидеть которую оно не в состоянии. Философская литература — это лишь один из примеров в этой истории, но это пример весьма значимый. Он особенно интересует нас в связи с Руссо, который, по весьма серьезным причинам, и создавал философскую

словесность (например, "Общественный договор" и "Новую Эло-изу"), и одновременно предпочитал существовать в письме литературном — т. е. таком, которое не исчерпывается тем или иным философским или иным содержанием, в нем обнаруживаемом. То, что Руссо - как философ и как психолог - сказал нам о письме вообще, неразрывно связано с системой его собственного письма. И это нужно учитывать.

Вследствие этого возникают сложные проблемы — в особенности проблемы расчленения. Вот три примера.

1. Если наш путь при чтении "восполнения" не является попросту психоаналитическим, то это потому, что обычный психоанализ литературы начинается с заключения в скобки литературного означающего как такового. Кроме того, потому, что сама психоаналитическая теория есть для нас лишь совокупность текстов, принадлежащих нашей истории и нашей культуре. А поэтому, налагая свой отпечаток на наше чтение и наше интерпретирующее письмо, она не является таким общим принципом или истиной, которую можно было бы изъять из системы текста, где мы находимся, чтобы прояснить эту систему со стороны. В известном смысле мы находимся внутри истории психоанализа, точно так же, как мы находимся внутри текста Руссо. Как Руссо черпал из уже готового языка (который отчасти продолжает быть и нашим языком, позволяя нам хоть сколько-то понимать французскую литературу), точно так же и мы ныне передвигаемся внутри сетки значений, несущих на себе Печать психоаналитической теории, даже если мы не вполне ориентируемся в этой сетке и не надеемся когда-нибудь в этом преуспеть.

Но есть иная, главная причина, почему мы не можем говорить о психоанализе Жан-Жака Руссо даже в первом приближении. Дело в том, что такой психоанализ должен был бы заранее выявить все те структуры, в которые включен текст Руссо, все то, что не присуще ему самому и гнетет его всегда-уже-наличием языка и культуры - скорее пристанищем, нежели продуктом письма. Вокруг неизбывной оригинальности его письма организуются, развертываются, переплетаются огромное количество структур, исторических целостностей всех порядков. Для того чтобы окончательно расчленить и истолковать их, психоанализ должен был бы объять всю историю западной метафизики, давшей пристанище письму Руссо, а сверх того выяснить и закон своей собственной принадлежности к метафизике и культуре Запада. Мы не пойдем этим путем. Мы уже осознали трудность этой задачи и, хотя бы отчасти, вероятность провала при нашем истолковании восполнения. Мы уверены, что в этом истолковании нам удалось уловить хоть что-то из настоящего Руссо, но при этом пришлось выволочить на поверхность бесформенную массу корней, земли и почвенных отложений.

2. Даже если допустить, что можно строго вычленить сочинения Руссо и вписать (*articuler*) их в историю вообще, а затем в историю знака "восполнение", - все равно мы должны были бы помнить и о других возможностях. Прослеживая, как Руссо использует это слово и связанные с ним понятия, мы проходим определенный путь внутри самого текста Руссо. Да, этот путь дает нам возможность общего обзора. Но разве нет и других путей? А коль скоро вся совокупность возможных путей не исчерпана, как обосновать наш выбор?

3. Выделив заранее в тексте Руссо особую роль знака "восполнение", мы приготовились обратить преимущественное внимание (которое могут счесть из круга вон выходящим) на такие его тексты, как "Опыт о происхождении языков" и ряд отрывков о теории языка и письма. По какому праву? Почему мы выбираем эти короткие тексты, опубликованные большей частью посмертно, с трудом поддающиеся классификации, написанные неизвестно когда и по какому поводу?

На все эти вопросы нет удовлетворительного ответа в рамках их собственной внутрисистемной логики. В какой-то мере, несмотря на все теоретические предосторожности, наш выбор и в самом деле оказывается из круга вон выходящим.

Но что же это такое - из круга вон выходящий?

Мы стремимся встать на точку зрения, внешнюю по отношению к логоцентрической эпохе в целом. Из этой внешней точки можно попытаться деконструировать эту целостность, которая выступает и как прочерченный след, и этот круг (*orbis*), который допускает круговой обзор (*orbita*). Попытка этого выхода и этой деконструкции хоть и подчиняется определенной исторической необходимости, но никак не может полагаться на те методологические или логические опоры, которые остались в этом кругу. Судить о стиле замкнутой целостности изнутри ее самой можно лишь в рамках заранее принятых оппозиций. Этот стиль можно назвать эмпиристским и не без оснований. Выход из нее всегда радикально эмпиричен. Он достигается блужданием мысли о самой возможности пути и метода. Неведение и неуверенность в будущем подталкивают мысль к сознательному риску. Так мы сами определяем и форму этого эмпиризма и его уязвимые места. Однако при этом разрушается и само понятие эмпиризма. Выход за пределы метафизического круга — это попытка сойти с круговой орбиты, с тем чтобы помыслить все классические понятийные противоположности в целом и в особенности ту, в которой заключен смысл эмпиризма. Это — противоположность философии и не-философии, или, иначе говоря, эмпиризма, т. е. неспособности самостоятельно и последовательно хранить связность своей собственной речи, строить (*se produire*) себя как истину в тот самый момент, когда ценность истины оказывается под вопросом, избегать внутренних противоречий скептицизма и т. д. *Мысль об этой исторической противоположности между философией и эмпиризмом сама по себе не является эмпирической, и определять ее как эмпирическую было бы заблуждением и упорным непониманием.*

Уточним это. Что может быть из круга вон выходящим в чтении Руссо? Конечно, по отношению к интересующей нас здесь истории привилегированное положение Руссо весьма относительно. Если мы хотим лишь определить его место в этой истории, тогда уделяемое ему здесь внимание действительно окажется сильно преувеличенным.

Но ведь речь идет вовсе не об этом. Речь идет о том, чтобы прояснить важнейшие узлы (*articulation*) логоцентрической эпохи. И тут Руссо оказывается для нас настоящим откровением. Конечно, все это означает, что мы уже и так подступили к выходу, уже поняли, что подавление письма составляет характерную операцию этой эпохи, уже прочитали некоторое количество текстов (хотя и не все тексты), некоторое количество текстов Руссо (хотя и не все тексты Руссо). Это признание в эмпиризме можно оправдать

лишь самой постановкой вопроса. Вопрос начинается с выхода за пределы замкнутого круга очевидностей, с потрясения системы противоположностей - а все эти движения неизбежно эмпиричны, неизбежно имеют вид блуждания (*errance*). Во всяком случае, с точки зрения старых норм их нельзя описать иначе. Никакого другого пути у нас нет, а поскольку все эти блуждающие вопросы не являются абсолютно и насквозь первоначальными, то их, по сути, удастся настичь и охватить всю их поверхность посредством именно такого описания, которое одновременно выступает и как критика. Начинать приходится там, где мы и находимся, тем более что мысль о следе, чутьем (*flair*) берущая след, уже разведала и доложила нам о том, что никакой исходный пункт не может быть обоснован бесспорно. *Там, где мы и находимся*, - значит, внутри текста, где мы, по-видимому, и существуем.

Сузим область рассуждения. Конечно, тема восполнительности во многих отношениях не лучше и не хуже других. Она — звено в цепи взаимосвязей и зависит от этой цепи. Быть может, ее можно было бы даже заменить какой-нибудь другой. Однако именно эта тема позволяет *описать саму эту цепь, цепочечное бытие текста, структуру подмены, сорасчленение желания и языка, логику всех тех понятийных противопоставлений, с которыми имеет дело Руссо*, и в особенности роль и функцию понятия природы в его системе. Именно она говорит нам в тексте о том, что такое текст, в письме — что такое письмо, в письме Руссо — каково желание Жан-Жака и т. д. Если мы, согласно с главным тезисом этого исследования, полагаем, что вне текста не существует ничего, тогда вот наш окончательный довод: понятие восполнения и теория письма обозначают, как бы в бездне зеркал (*en abîme*), саму текстуальную сущность текста Руссо. Мы увидим, что эта бездна возникает не в силу случая - счастливого или несчастливое. В нашем чтении постепенно сложится целая теория структурной необходимости бездны (*l'abîme*): бесконечный процесс нанизывания восполнений на всегда-уже початое наличие включил в него пространство повторения и самоудвоения. Изображение наличия в бездне зеркал — это не случайность; напротив, желание наличия возникает в бездне изображений, в бездне изображений в изображениях и т. д. И само восполнение выступает во всех смыслах слова как нечто из круга вон выходящее.

Таким образом, Руссо вписывает текстуальность в текст. Но это совсем не простая операция: она должна перехитрить акт самостирания [текста], так что стратегические отношения и соотношения сил между этими двумя процессами образуют сложную картину. Эта картина, как кажется, выявляется в манипулировании понятием восполнения. Руссо не может использовать все его смысловые возможности одновременно. Как Руссо определяет это понятие и тем самым позволяет и себя самого определить через обнаруживающиеся при этом умолчания и исключения; как он видоизменяет это понятие, трактуя его то как дополнение, то как замену, то как реальность и вне-положность зла, то как полезного помощника, - все это не выражает ни пассивности, ни активности, ни неосознанности, ни ясности авторской мысли. В чтении нам придется не только отказаться от всех этих категорий — а это, напомним, основополагающие категории метафизики, — но также выработать закон такого отношения к понятию восполнения. Именно выработать, произвести, поскольку мы не собираемся просто повторять то, что думал по этому поводу Руссо. Понятие восполнения в тексте Руссо — это как бы слепое пятно, нечто невидимое, что одновременно и открывает поле зрения, и ограничивает его. Однако эта выработка закономерности, попытка сделать невидимое зримым не выходит за пределы текста, и думать иначе было бы иллюзией. Она заключается в преобразованиях языка, в

упорядоченных обменах между Руссо и историей. Мы знаем, что эти обмены осуществляются лишь посредством языка и текста - в том базисном смысле, который мы теперь придаем этому слову. А то, что мы называем выработкой, неизбежно оказывается текстом, т. е. системой письма и чтения, относительно которых нам известно — априорно, но лишь теперь, и на основе знания, которое вовсе не есть знание, — что они соупорядочиваются вокруг своего собственного слепого пятна.

Версия #2

Зверобой создал 5 марта 2026 23:16:50

Зверобой обновил 7 марта 2026 00:51:24